

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 21. СТИХИ.

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Левитанский Юрий Давыдович (1922-1996), поэт. Родился 21 января в Киеве. Окончив школу в 1938 в городе Сталине (ныне Донецк), едет в Москву, где учится в Институте философии, литературы и истории. С началом Отечественной войны уходит на фронт солдатом, становится офицером, затем фронтовым корреспондентом, начав печататься в 1943 во фронтовых газетах.

В послевоенные годы выходит первый сборник стихотворений Левитанского - "Солдатская дорога" (1948) в Иркутске, затем сборники "Встреча с Москвой" (1949), "Самое дорогое" (1951), "Секретная фамилия" (1954) и др.

В 1963 публикует сборник стихов "Земное небо". Левитанский переезжает в Москву. Кроме стихов, сборники которых регулярно печатались в различных изданиях, поэт занимается и переводами. В 1970 вышел сборник стихотворений "Кинематограф"; в 1975 - "Воспоминания о Красном снеге"; в 1980 - "Два времени"; в 1980 - "Сон о дороге"; в 1991 - "Белые стихи". Ю. Левитанский живет и работает в Москве. Умер в 1996 году.

БЕЛАЯ БАЛЛАДА

Снегом времени нас заносит - все больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.
Один за другим приближаемся к своим юбилеям,
белые, словно парусные корабли.

И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед.
Пятидесяти орудий залпы неслышные.
Пятидесяти невидимых молний свет.

И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья.
И вечным прощеньем пахнувшая трава.
...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья.
Последней Надежды туманные острова.

И снова подводные рифы и скалы опасные.
И снова к глазам подступает белая мгла.
Ну, что ж, наше дело такое - плывите, парусные!
Может, еще и вправду земля кругла.

И снова нас треплет качка осатанелая.
И оста и веста попеременно прыть.
...В белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая.
Неведомо, сколько кому остается плыть.

Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.
След за кормой, тоненькая полоса.
В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают
попутного ветра не ждущие паруса.

БЕЛЫЙ СНЕГ

В ожидании дел невиданных
из чужой страны
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны.

Огляделся.
Над белым бережком
бегут облака.
Горожанки проносят бережно
куски молока.

И скользят,
на глаза на самые
натянув платок.
И скрежещут полозья санные,
и звенит ледок.

Очень белое все
и светлое -
ах, как снег слепит!
Начинаю житье оседлое -
позабытый быт.

Пыль очищена,
грязь соскоблена -
и конец войне.
Ничего у меня не скоплено,
все мое - на мне.

Я себя в этом мире пробую,
я вхожу в права -
то с ведерком стою над прорубью,
то колю дрова.

Растилку картофель отваренный -
и обед готов.
Скучно карточки отоварены
хлебом тех годов.

Но шинелка на мне починена,
нигде ни пятна.
Ребятишки глядят почтительно
на мои ордена.

И пока я гремлю,
орудуя
кочергой в печи,
все им чудится:
бьют орудия,
трубят трубачи.

Но снежинок ночных кружение,
законный свет -
словно полное отрешение
от прошедших лет.

Ходят ходики полусонные,
и стоят у стены
сапоги мои, привезенные
из чужой страны.

БЕРЕЗА

За стеною голоса
и звон посуды.
Доводящие до умопомраченья
разговоры за стеною,
пересуды
и дебаты философского значенья.

Видно, за полночь.
Разбужен поневоле,
я выскакиваю из-под одеяла.
Что мне снилось?
Мне приснилось чисто поле,
где-то во поле березонька стояла.

Я кричу за эту стену:
- Погодите!
Ветер во поле березу пригибает.
Одевайтесь,- говорю,-
и выходите,
где-то во поле береза погибает.

Пять минут,- кричу,-
достаточно на сборы.
Станем разом против ветра и мороза...-
Пересуды за стеною,
разговоры.
Замерзает где-то во поле береза.

В ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЕ

Не березы, не рябины
и не черная изба -
всё топазы, всё рубины,
всё узорная резьба.
В размышленья погруженный
среди музейного добра,

вдруг я замер,
отраженный
в личном зеркале Петра.
Это вправду поражало:
сколько лет ни утекло,
все исправно отражало
беспристрастное стекло -
серебро щитов и сабель,
и чугунное литье,
и моей рубахи штапель,
и обличие мое...
Шел я улицей ночью,
раздавался гул шагов,
и мерцало надо мною
небо тысячи веков,
И под этим вечным кровом
думал я, спеша домой,
не о зеркале Петровом -
об истории самой,
о путях ее негладких,
о суде ее крутом,
без опаски,
без оглядки
перед плахой и кнутом.
Это помнить не мешает,
сколько б лет ни утекло,-
все исправно отражает
неподкупное стекло!

* * *

Вдали полыхнула зарница.
Качнулась за окнами мгла.
Менялась погода —
смениться
погода никак не могла.

И все-таки что-то менялось.
Чем дальше, тем резче и злей
менялась погода,
менялось
строенье ночных тополей.

И листьев бездомные тени,

в квартиру проникнув извне,
в каком-то безумном смятенье
качались на белой стене.

На этом случайном квадрате,
мятежной влекомы трубой,
сходились несметные рати
на братоубийственный бой.

На этой квадратной арене,
где ветер безумья сквозил,
извечное длилось боренье
издревле враждующих сил.

Там бились, казнили, свергали,
и в яростном вихре погонь
короткие сабли сверкали
и вспыхивал белый огонь.

Там, памятью лета томима,
томима всей памятью лет,
последняя шла пантомима,
последний в сезоне балет.

И в самом финале балета,
его безымянный солист,
участник прошедшего лета,
последний солировал лист.

Последний бездомный скиталец
шел по полю, ветром гоним,
и с саблями бешеный танец
бежал задыхаясь за ним.

Скрипели деревья неслышно.
Качалась за окнами мгла.
И музыки не было слышно,
но музыка все же была.

И некто
с рукою, воздетой
к невидимым нам небесам,
был автором музыки этой,
и он дирижировал сам.

И тень его палочки жесткой,
с мелодией той в унисон,
по воле руки дирижерской
собой завершала сезон...

А дальше
из сумерек дома,
из комнатной тьмы выплывал
рисунок лица молодого,
лица молодого овал.

А дальше,
виднеясь нечетко
сквозь комнаты морок и дым,
темнела короткая челка
над спящим лицом молодым.

Темнела, как венчик терновый,
плыла, словно лист по волнам.
Но это был замысел новый,
покуда неведомый нам.
1976

* * *

Вот приходит замысел рисунка.
Поединок сердца и рассудка.

Иногда рассудок побеждает:
он довольно трезво рассуждает,

здравые высказывает мысли -
ну, и побеждает в этом смысле...

Сердце бьется, сердце не сдается,
ибо сердце сердцем остается.

Пусть оно почаще побеждает!
Это как-то больше убеждает.

* * *

Всего и надо, что взглядеться,- боже мой,
Всего и дела, что внимательно взглядеться,-

И не уйдешь, и некуда уже не деться
От этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться, - боже мой,
Всего и дела, что помедлить над строкою -
Не пролистнуть нетерпеливою рукою,
А задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки.
И все ж строка - она со временем прочтется,
И перечтется много раз и ей зачтется,
И все, что было с ней, останется при ней.

Но вот глаза - они уходят навсегда,
Как некий мир, который так и не открыли,
Как некий Рим, который так и не отрыли,
И не отрыть уже, и в этом вся беда.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,
За то, что суетно так жили, так спешили,
Что и не знаете, чего себя лишили,
И не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил как все.
Вначале слово безраздельно мной владело.
А дело было после, после было дело,
И в этом дело все, и в этом вся печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшней удел -
Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не разглядел!

* * *

Вы помните песню про славное море?
О парус,
летающий под гул баргузина!
...Осенние звезды стояли над логом,
осенним туманом клубилась низина.

Потом начинало светать понемногу.
Пронзительно пахли цветы полевые...
Я с песнею тою

пускался в дорогу,
Байкал для себя открывая впервые.

Вернее, он сам открывал себя.
Медленно
машина взбиралась на грань перевала.
За петлями тракта,
за листьями медными
тянуло прохладой и синь проступала.

И вдруг он открылся.
Открылась граница
меж небом и морем.
Зарей освещенный,
казалось, он вышел, желая сравниться
с той самою песней, ему посвященной.

И враз пробежали мурашки по коже,
сжимало дыханье все туже и туже.
Он знал себе цену.
Он спрашивал:
- Что же,
похоже на песню?
А может, похуже?

Наполнен до края дыханьем соленым
горячей смолы, чешуи омулиной,
он был голубым,
синеватым,
зеленым,
горел ежевикой и дикой малиной.

Вскипала на гальке волна ветровая,
крикливые чайки к воде припадали,
и как ни старался я, рот открывая,
но в море,
но в море слова пропадали.

И думалось мне
под прямым его взглядом,
что, как ни была бы ты, песня, красива,
ты меркнешь,
когда открывается рядом
живая,
земная,

всесильная сила.

ГОДЫ

Годы двадцатые и тридцатые,
словно кольца пружины сжатые,
словно годичные кольца,
тихо теперь покоятся
где-то во мне,
в глубине.

Строгие годы сороковые,
годы,
воистину
роковые,
сороковые,
мною не забытые,
словно гвозди, в меня забитые,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.

Пятидесятые,
шестидесятые,
словно высоты, недавно взятые,
еще остывшие не вполне,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.

Семидесятые годы идущие,
годы прошедшие,
годы грядущие
больше покуда еще вовне,
но есть уже и во мне.

Дальше — словно в тумане судно,
восьмидесятые —
даль в снегу,
и девяностые —
хоть и смутно,
а все же представить еще могу,
Но годы двухтысячные
и дале —
не различимые мною дали —
произношу,

как названья планет,
где никого пока еще нет
и где со временем кто-то будет,
хотя меня уже там не будет.
Их мой век уже не захватывает —
произношу их едва дыша —
год две тысячи —
сердце падает
и замирает душа.
1976

* * *

Грач над березовой чащей.
Света и сумрака заговор.
Вечно о чем-то молчащий,
неразговорчивый загород.
Лес меня ветками хлещет
в сумраке спутанной зелени.
Лес меня бережно лечит
древними мудрыми зельями.
Мятой травой врачует -
век исцеленному здравствовать,
посох дорожный вручает -
с посохом по лесу странствовать...
Корни замшелого клена
сучьями трогаю голыми,
и откликается крона
дальними строгими гулами.
Резко сгущаются тени,
перемещаются линии.
Тихо шевелятся в тине
странные желтые лилии.
Гром осыпается близко,
будит округу уснувшую.
Щурюсь от быстрого блеска.
Слушаю.
Слушаю.
Слушаю.

* * *

День все быстрее на убыль
катится вниз по прямой.
Ветка сирени и Врубель.
Свет фиолетовый мой.

Та же как будто палитра,
сад, и ограда, и дом.
Тихие, словно молитва,
вербы над тихим прудом.

Только листья обгорели
в медленном этом огне.
Синий дымок акварели.
Ветка сирени в окне.

Господи, ветка сирени,
все-таки ты не спеши
речь заводить о старенье
этой заблудшей глуши,

этого бедного края,
этих старинных лесов,
где, вдалеке замирая,
сдавленный катится зов,

звук пасторальной свирели
в этой округе немой...
Врубель и ветка сирени.
Свет фиолетовый мой.

Это как бы постаренье,
в сущности, может, всего
только и есть повторенье
темы заглавной его.

И за разводами снега
вдруг обнаружится след
синих предгорий Казбека,
тень золотых эполет,

и за стеной глухомани,
словно рисунок в альбом,
парус проступит в тумане,
в том же, еще голубом,

и стародавняя тема
примет иной оборот...
Лермонтов¹. Облако. Демон.
Крыльев упругий полет.

И, словно судно к причалу
в день возвращенья домой,
вновь устремится к началу
свет фиолетовый мой.
1991

ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

— Что происходит на свете?— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?— Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.

— Что же за всем этим будет?— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете?— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

— Чем же все это окончится?— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует?— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.

— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!

— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,
 раз-два-три,
 раз-два-три,

раз-два-три!..

* * *

Замирая, следил, как огонь подступает к дровам.
Подбирал тебя так, как мотив подбирают к словам.

Было жарко поленьям, и пламя гудело в печи.
Было жарко рукам и коленям сплетаться в ночи...

Ветка вереска, черная трубочка, синий дымок.
Было жаркое пламя, хотел удержать, да не мог.

Ах, мотивчик, шарманка, воробышек, желтый скворец —
упорхнул за окошко, и песенке нашей конец.

Доиграла шарманка, в печи догорели дрова.
Как трава на пожаре, остались от песни слова.

Ни огня, ни пожара, молчит колокольная медь.
А словам еще больно, словам еще хочется петь.

Но у Рижского взморья все тише стучат поезда.
В заметенном окне полуночная стынет звезда.

Возле Рижского взморья, у кромки его берегов,
опускается занавес белых январских снегов.

Опускается занавес белый над сценой пустой.
И уходят волхвы за неверной своею звездой.

Остывает залив, засыпает в заливе вода.
И стоят холода, и стоят над землей холода.

1976

* * *

Здесь обычай древний
не нарушат.
В деревянный ставень постучи -
чай заварят,
валенки просушат,

теплых щей достанут из печи.

В этих избах,
в этой снежной шири,
белыми морозами дыша,
издавна живет она -
Сибири
щедро хлебосольная душа.

Если кто и есть еще,
быть может,
что шаги заслыша у ворот,
на задвижку дверь свою заложит,
ковшика воды не поднесет,

и влечет его неудержимо
встреча с каждым новым пятакон -
пусть себе трясется эта жила
над своим железным сундуком!

Сколько раз
меня в крестьянской хате
приглашали к скромному столу!
Клали на ночь
только на кровати,
сами ночевали на полу.

Провожая утром до ограды,
говорили,
раскурив табак,-
дескать, чем богаты,
тем и рады.
Извиняйте, если что не так!..

В дом к себе распахивая двери,
не тая ни помыслов,
ни чувств,
быть достойным,
хоть в какой-то мере,
этой высшей щедрости
учусь.

Чтоб делить
в сочувственной тревоге
все, что за душой имею сам,

с человеком,
сбившимся с дороги,
путником,
плутавшим по лесам.

Чтобы, с ним прощаясь у ограды,
раскурив по-дружески табак,
молвить:
- Чем богаты, тем и рады.
Извиняйте, если что не так!

* * *

...И уже мои волосы — ах, мои бедные кудри! —
опадать начинают,
как осенние первые листья
в тишине опадают.
Дух увяданья, звук опаданья неразличимый
исподтишка подступает,
подкрадывается незаметно.
Лист опадает, лес опадает, звук опаданья неразличимый
в ушах моих отдается подобно грому,
подобно обвалу и камнепаду,
подобно набату.
Катя, спаси меня! Аня, спаси меня! Оля, спаси меня!—
губы мои произносят неслышно —
да нет, это листья,
их шорох, их шелест,
а чудится мне,
будто я говорю,
будто криком кричу я.
Лес опадает, лист опадает, падает, кружится
лист одинокий,
мгновенье еще,
и уже он коснется земли.
Но — неожиданно, вдруг, восходящим потоком
внезапно подхватит его,
и несет,
и возносит все выше и выше
в бездонное небо,
и — ничего нет, наверно, прекрасней на свете,
чем эта горчащая радость
внезапного взлета
за миг до паденья.

ИРОНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Мне нравится иронический человек.
И взгляд его, иронический, из-под век.
И черточка эта тоненькая у рта -
иронии отличительная черта.

Мне нравится иронический человек.
Он, в сущности, - героический человек.
Мне нравится иронический его взгляд
на вещи, которые вас, извините, злят.

И можно себе представить его в пенсне,
листающим послезавтрашний календарь.
И можно себе представить в его письме
какое-нибудь старинное - милсударь.

Но зря, если он представится вам шутком.
Ирония - она служит ему щитом.
И можно себе представить, как этот щит
шатается под ударами и трещит.

И все-таки сквозь трагический этот век
проходит он, иронический человек.
И можно себе представить его с мечом,
качающимся над слабым его плечом.

Но дело не в том - как меч у него остер,
а в том - как идет с улыбкою на костер
и как перед этим он произносит: - Да,
горячий денек - не правда ли, господа!

Когда же свеча последняя догорит,
а пламень небес едва еще лиловат,
смущенно - я умираю - он говорит,
как будто бы извиняется, - виноват.

И можно себе представить смиренный лик,
и можно себе представить огромный рост,
но он уходит, так же прост и велик,
как был за миг перед этим велик и прост.

И он уходит - некого, мол, корить,-
как будто ушел из комнаты покурить,
на улицу вышел воздухом подышать
и просит не затрудняться, не провожать.

* * *

Как зорек от суесловья, как залог
и попытка мою душу убересть,
в эту книгу входит море — его слог,
его говор, его горечь, его речь.

Не спросившись, разрешенья не спросив,
вместе с солнцем, вместе в ветром на паях,
море входит в эту книгу, как курсив,
как случайные пометки на полях.

Как пометки — эти дюны, эта даль,
сонных сосен уходящий полукруг...
Море входит в эту книгу, как деталь,
всю картину изменяющая вдруг.

Всю картину своим гулом окатив,
незаметно проступая между строк,
море входит в эту книгу, как мотив
бесконечности и судеб и дорог.

Бесконечны эти дюны, этот бор,
эти волны, эта темная вода...
Где мы виделись когда-то? Невермор.
Где мы встретимся с тобою? Никогда.

Это значит, что бессрочен этот срок.
Это время не беречься, а беречь.
Это северное море между строк,
его говор, его горечь, его речь.

Это север, это северные льды,
сосен северных негромкий разговор.
Голос камня, голос ветра и воды,
голос птицы из породы Невермор.
1976

* * *

Как я спал на войне,
 в трескотне
 и в полночной возне,
на войне,
 посреди ее грозных
 и шумных владений!
Чуть приваливался к сосне -
 и проваливался.
 Во сне
никаких не видал сновидений.
Впрочем, нет, я видал.
 Я, конечно, забыл -
 я видал.
Я бросался в траву
 между пушками и тягачами,
засыпал,
 и во сне я летал над землею,
 витал
над усталой землей
 фронтowymi ночами.
Это было легко:
 взмах рукой,
 и другой,
и уже я лечу
 (взмах рукой!)
 над лугами некошеными,
над болотной кугой
 (взмах рукой!),
 над речною дугой
тихо-тихо скриплю
 сапогами солдатскими
 кожаными.
Это было легко.
 Вышина мне была не страшна.
Взмах рукой, и другой -
 и уже в вышине этой таешь.
А наутро мой сон
 растолковывал мне старшина.
- Молодой,- говорил,-
 ты растешь,- говорил,-
 оттого и летаешь...
Сны сменяются снами,
 изменяются с нами.

В белом кресле с откинутой
спинкой,
в мягком кресле с чехлом
я дремлю в самолете,
смущаемый взрослыми снами
об устойчивой, прочной земле
с ежевикой, дождем и щеглом.
С каждым годом
сильнее влечет
все устойчиво прочное.
Так зачем у костра-дымокура,
у лесного огня,
не забытое мною,
но как бы забытое, прошлое
голосами другими
опять окликает меня?
Загорелые парни в ковбойках
и в кепках, упрямо заломленных,
да с глазами,
в которых лесные костры горят,
спят на влажной траве
и на жестких матрацах соломенных,
как убитые спят
и во сне над землею парят.
Как летают они!
Залетают за облако,
тают.
Это очень легко -
вышина им ничуть не страшна.
Ты был прав, старшина:
молодые растут,
оттого и летают.
Лишь теперь мне понятна
вся горечь тех слов,
старшина!
Что ж я в споры вступаю?
Я парням табаку отсыпаю.
Торопливо ломаю сушняк,
у лесного огня хлопочу.
А потом я бросаюсь в траву
и в траве молодой засыпаю.
Взмах рукой, и другой!
Поднимаюсь опять
и лечу.

КИНЕМАТОГРАФ

Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино.

И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
заставляет меня плакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль -
будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, все бегут они, бегут -
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт и в течение этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...

Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино!
А потом придут оттенки, а потом полутона,
то уменьье, та свобода, что лишь зрелости дана.
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час
детством, первыми шагами тех, что будут после нас

жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак - старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
даже тем, что не играю, я играю роль свою.
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.
И над собственной ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

* * *

Когда на экране,
в финальных кадрах,
вы видите человека,
уходящего по дороге вдаль,
к черте горизонта,—
в этом хотя и есть
щемящая некая нотка,
и все-таки это, по сути, еще не финал —
не замкнулся круг —
ибо шаг человека упруг,
а сам человек еще молод,
и недаром
где-то за кадром
поет труба,
и солнце
смотрит приветливо
с небосклона —
так что есть основания надеяться,
что судьба
к человеку тому
пребудет еще благосклонна.

Но когда на экране,
в финальных кадрах,
вы видите человека,
уходящего по дороге вдаль,
к черте горизонта,
и человек этот стар,
и согбенна его спина,
и словно бы ноги его налиты свинцом,
так он шагает
устало и грузно,—
вот это уже
по-настоящему грустно,
и это уже
действительно
пахнет концом.

И все-таки,
это тоже
еще не конец,
ибо в следующей же из серий
этого
некончающегося сериала
снова
в финальных кадрах
вы видите человека,
уходящего по дороге вдаль,
к черте горизонта
(повторяется круг),
и шаг человека упруг,
и сам человек еще молод,
и недаром
где-то за кадром
поет труба,
и солнце
смотрит приветливо
с небосклона —
так что есть основания надеяться,
что судьба
к человеку тому
пребудет еще благосклонна.

Так и устроен
этот нехитрый сюжет,
где за каждым финалом

следует продолженье —
и в этом, увы,
единственное утешенье,
а других вариантов
тут, к сожаленью,
нет.
1991

* * *

Люблю осеннюю Москву
в ее убранстве светлом,
когда утрами жгут листву,
опавшую под ветром.
Огромный медленный костер
над облетевшим садом
похож на стрельчатый костел
с обугленным фасадом.
А старый клен совсем поник,
стоит, печально горбясь...
Мне кажется, своя у них,
своя у листьев гордость.
Ну что с того, ну что с того,
что смяты и побиты!
В них есть немое торжество
предчувствия победы.
Они полягут в чернозем,
собой его удобрят,
но через много лет и зим
потомки их одобрят,
Слезу ненужную утрут,
и в юном трепетанье
вся неоправданность утрат
получит оправданье...
Парит, парит гусиный клин,
за тучей гуси стонут.
Горит, горит осенний клен,
золою листья станут.
Ветрами старый сад продут,
он расстаётся с летом..
А листья новые придут,
придут за теми следом.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

И убивали, и ранили
пули, что были в нас посланы.
Были мы в юности ранними,
стали от этого поздними.
Вот и живу теперь - поздний.
Лист раскрывается - поздний.
Свет разгорается - поздний.
Снег осыпается - поздний.
Снег меня будит ночами.
Войны снятся мне ночами.
Как я их скину со счета?
Две у меня за плечами.
Были ранения ранние.
Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение.
Поздно приходит признание.
Я все нежней и осознанней
это люблю поколение.
Жестокое это каление.
Светлое это горение.
Сколько по свету кружили
Вплоть до победы - служили.
После победы - служили.
Лучших стихов не сложили.
Вот и живу теперь - поздний.
Лист раскрывается - поздний.
Свет разгорается - поздний.
Снег осыпается - поздний.
Лист мой по ветру не вьется -
крепкий, уже не сорвется.
Свет мой спокойно струится -
ветра уже не боится.
Снег мой растет, нарастает -
поздний, уже не растает.

* * *

Не брести мне сушею,
а по северным рекам плыть!
Я люблю присущую
этим северным рекам прыть.
Мне на палубе слышно,

как плещет внизу Витим,
как ревет Витим,
в двух шагах почти невидим.
Я щекою небритой
ощущаю мешок вещевой,
мой дорожный мешок,
перемытый водой дождевой.
От него пахнет пастой зубною
и ягодным мылом,
позабытой страной -
детством лагерным милым.
И от этого снится мне детство
с певучими горнами
и с вершинами горными,
неприступными, гордыми.
К тем вершинам горным,
чтоб увидеть их наяву,
от детства самого
по высокой воде плыву.
У безлюдного берега
опускаю скрипучие трапы
на песчаные отмели,
на лесные пахучие трааы.
И огни золотого прииска
в темноте за бортом
начинаются, словно присказка
(сказка будет потом!).
Ну, а в присказке ходит Золушка
в сапогах кирзовых.
Полыхают всюду два солнышка
в глазах бирюзовых.
Засыпает она, усталая,
на подушке колкой,
и стоят босоножки старые
под железной койкой.
А за окнами зорька-зорюшка
сладко сны навевает.
Золотые туфельки Золушка
не спеша надевает.
Золотыми, росой обрызганными,
по мосткам застучала...
Только это уже не присказка -
это сказки начало.
Это сказка моя правдивая,
где ни лжи, ни обмана,

где и вправду вершины горные
 поднимаются из тумана.
Ах, вершины гордые!
 Чтоб увидеть вас наяву,
я от детства самого
 по высокой воде плыву.

ПАМЯТИ РОВЕСНИКА

Мы не от старости умрем -
От старых ран умрем...

С. Гудзенко

Опоздало письмо.
 Опоздало письмо.
 Опоздало.
Ты его не получишь,
 не вскрыешь
 и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
 К стене повернулся устало.
И упала рука.
 И не видишь.
 Не слышишь.
 Не дышишь.
Вот и кончено все.
 С той поры ты не стар и не молод,
и не будет ни весен,
 ни лет,
 ни дождя,
 ни восхода.
Остается навеки
 один нескончаемый холод -
продолженье
 далекой зимы
 сорок первого года.
Смерть летала над нами,
 витала, почта ощутима.
Были вьюгою белой
 оплаканы мы и отпеты.
Но война,
 только пулей отметив,
 тебя пощадила,
чтоб убить

через несколько лет
 после нашей победы.
Вот еще один холмик
 под этим большим небосклоном.
Обелиски, фанерные звездочки -
 нет им предела.
Эта снежная полночь
 стоит на земле
 Пантеоном,
где без края могилы
 погибших за правое дело.
Колоннадой тяжелой
 застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над ними,
 как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
 уходят Карпаты
под торжественный купол,
 где звезды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы.
Это скорбные вехи
 пути моего поколенья.
Я иду между ними.
 До крови закушены губы.
Я на миг
 у могилы твоей
 становлюсь на колени.
И теряю тебя.
 Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
 Мое поколенья на марше.
Но годам не подвластен
 железный закон притяженья
к неостывшей земле,
 где зарыты ровесники наши.

ПЕЙЗАЖ

Горящей осени упорство!
Сжигая роци за собой,
она ведет единоборство,
хотя проигрывает бой.

Идет бесшумный поединок,
но в нем схлестнулись не шутя
тугие нити паутинок
с тугими каплями дождя.

И ветер, в этой потасовке
с утра осинник всполошив,
швыряет листья, как листовки,-
сдавайся, мол, покуда жив.

И сдачи первая примета -
белесый иней на лугу.
Ах, птицы, ваша песня спета,
и я помочь вам не могу.. .

Таков пейзаж. И если даже
его озвучить вы могли б -
чего-то главного в пейзаже
недостает, и он погиб.

И все не то, все не годится -
и эта синь, и эта даль,
и даже птица, ибо птица -
второстепенная деталь.

Но, как бы радуясь заминке,
пока я с вами говорю,
проходит женщина в косынке
по золотому сентябрю.

Она высматривает грузди,
она выслушивает тишь,
и отраженья этой грусти
в ее глазах не разглядишь.

Она в бору, как в заселенном
во всю длину и глубину
прозрачном озере зеленом,
где тропка стелется по дну,

где, издалёка залетая,
лучи скользят наискосок
и, словно рыбка золотая,
летит березовый листок...

Опять по листьям застучало,
но так же медленна, тиха,
она идет,
и здесь начало
картины, музыки, стиха.

А предыдущая страница,
где разноцветье по лесам,-
затем, чтоб было с чем сравниться
ее губам,
ее глазам.

* * *

Светлый праздник бездомности,
тихий свет без огня.
Ощущенье бездонности
августовского дня.

Ощущенье бессменности
пребыванья в тиши
и почти что бессмертности
своей грешной души.

Вот и кончено полностью,
вот и кончено с ней,
с этой маленькой повестью
наших судеб и дней,

наших дней, перемеченных
торопливой судьбой,
наших двух переменчивых,
наших судеб с тобой.

Полдень пахнет кружением
дальних рощ и лесов.
Пахнет вечным движением
привокзальных часов.

Ощущенье беспечности,
как скольжение на льду.
Запах ветра и вечности
от скамеек в саду.

От рассвета до полночи
тишина и покой.
Никакой будто горечи
и беды никакой.

Только полночь опустится,
как догадка о том,
что уже не отпустится
ни сейчас, ни потом,

что со счета не сбросится
ни потом, ни сейчас
и что с нас еще спросится,
еще спросится с нас.
1976

СОН О РОЯЛЕ

Я видел сон - как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.

Он путал карты, перемешивал,
но, их мешая вразнобой,
реальности не перевешивал,
а дополнял ее собой.

В конце концов, с чертами вымысла
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.

Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его гряда
казалась тонкой кромкой берега,
а дальше - черная вода.

А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.

Они давно уже не помнили,
что были плотью и душой
какой-то праздничной симфонии,
какой-то музыки большой.

Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие свое,
ее солдаты и полковники,
и даже маршалы ее.

И лишь иной, сожженный заживо,
еще с трудом припоминал
ее последнее адажио,
ее трагический финал.

Но вот, едва лишь тризну справивший,
еще не веря в свой закат,
опять рукой коснулся клавишей
ее безумный музыкант.

И поддаваясь искушению,
они построились в полки,
опять послушные движению
его играющей руки.

Забыв, что были уже трупами,
под сенью нотного листа
они за флейтами и трубами
привычно заняли места.

Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.

Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламывая нотные,
как проволоку в пять рядов.

Потом прорыв они расширили,
и пел торжественно металл.
Но кое-где уже фальшивили,
и кто-то в такт не попадал.

Уже все чаще они падали.
Уже на всю вторую часть
распространился запах падали,
из первой части просочась.

И сладко пахло шерстью жженною,
когда, тревогой охватив,
сквозь часть последнюю, мажорную,
пошел трагический мотив.

Мотив предчувствия, предвестия
того, что двигалось сюда,
как тема смерти и возмездия
и тема Страшного суда.

Кончалась музыка и корчилась,
в конце едва уже звеня.
И вскоре там, где она кончилась,
лежала черная земля.

И я не знал ее названия -
что за земля, что за страна.
То, может быть, была Германия,
а может быть, и не она.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.

И я, в отчаянье поверженный,
с тоской и ужасом следил
за тем, как музыкант помешанный
опять к роялю подходил.

ЧЕЛОВЕК, СТРОЯЩИЙ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Он лежит на траве
под сосной
на поляне лесной
и, прищурив глаза,
неотрывно глядит в небеса —
не мешайте ему,
он занят,
он строит,
он строит воздушные замки.
Галереи и арки,
балконы и башни,
плафоны,
колонны,
пилоны,
пилястры,
рококо и барокко,
ампир
и черты современного стиля,
и при всем
совершенство пропорций,
изящество линий —
и какое богатство фантазии,
выдумки, вкуса!

На лугу,
на речном берегу,
при луне,
в тишине,
на душистой копне,
он лежит на спине
и, прищурив глаза,
неотрывно глядит в небеса —
не мешайте,
он занят,
он строит,
он строит воздушные замки,
он весь в небесах,
в облаках,
в синеве,
еще масса идей у него в голове,
конструктивных решений
и планов,
он уже целый город воздвигнуть готов,

даже сто городов —
заходите, когда захотите,
берите,
живите!

Он лежит на спине,
на дощатом своем топчане,
и во сне,
закрывая глаза,
все равно продолжает глядеть в небеса,
потому что не может не строить
своих фантастических зданий.
Жаль, конечно,
что жить в этих зданьях воздушных,
увы, невозможно,
ни мне и ни вам,
ни ему самому,
никому,
ну, а все же,
а все же,
я думаю,
нам не хватало бы в жизни чего-то
и было бы нам неуютней на свете,
если б не эти
невидимые сооруженья
из податливой глины
воображенья,
из железобетонных конструкций
энтузиазма,
из огнем обожженных кирпичиков
бескорыстья
и песка,
золотого песка простодушья,—
когда бы не он,
человек,
строящий воздушные замки.
1976

* * *

Что делать, мой ангел, мы стали спокойней,
мы стали смиренней.
За дымкой метели так мирно клубится наш милый Парнас.
И вот наступает то странное время иных измерений,
где прежние мерки уже не годятся - они не про нас.

Ты можешь отмерить семь раз и отвесить
и вновь перевесить
и можешь отрезать семь раз, отмеряя при этом едва.
Но ты уже знаешь как мало успеешь
за год или десять,
и ты понимаешь, как много ты можешь за день или два.

Ты душу насытишь не хлебом единым и хлебом единым,
на миг удивившись почти незаметному их рубежу.
Но ты уже знаешь,
о, как это горестно - быть несудимым,
и ты понимаешь при этом, как сладостно - о, не сужу.

Ты можешь отмерить семь раз и отвесить,
и вновь перемерить
И вывести формулу, коей доступны дела и слова.
Но можешь проверить гармонию алгеброй
и не поверить
свидетельству формул -
ах, милая, алгебра, ты не права.
Ты можешь беседовать с тенью Шекспира
и собственной тенью.
Ты спутаешь карты, смешав ненароком вчера и теперь.
Но ты уже знаешь,
какие потери ведут к обретенью,
и ты понимаешь,
какая удача в иной из потерь.
А день наступает такой и такой-то и с крыш уже каплет,
и пахнут окрестности чем-то ушедшим, чего не избыть.
И нету Офелии рядом, и пишет комедию Гамлет,
о некоем возрасте, как бы связующем быть и не быть.

Он полон смиренья, хотя понимает, что суть не в смиренье.
Он пишет и пишет, себя же на слове поймать норовя.
И трепетно светится тонкая веточка майской сирени,
как вечный огонь над бессмертной и юной
душой соловья.

* * *

Что я знаю про стороны света?
Вот опять, с наступлением дня,
недоступные стороны света,

как леса, обступают меня.
Нет, не те недоступные земли,
где дожди не такие, как тут,
где живут носороги и зебры
и тюльпаны зимою цветут,
где лежат на волнах кашалоты,
где на ветках сидят какаду...
Я сегодня иные широты
и долготы имею в виду.

Вот в распахнутой раме рассвета
открываются стороны света.
Сколько их?
Их никто не считал.
Открывается Детство,
и Старость.
И высокие горы Усталость.
И Любви голубая дорога.
И глухие низины Порока.
И в тумане багровом Война -
есть такая еще сторона
с небесами багрового цвета.
Мы закроем вас,
темные стороны света!

Сколько есть неоткрытых сторон!
Все они обступают меня,
проступают во мне,
как узоры на зимнем окне,
очень медленно тают,
и вновь открываются
в раме рассвета
неоткрытые стороны света.

* * *

Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана,
а потом все быстрее и быстрее, подчиняясь ключу,-
как в "Прощальной симфонии" - ближе к финалу - ты помнишь,
у Гайдна -
музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу
и уходит - в лесу все просторней теперь - музыканты уходят -
партитура листвы обгорает строка за строкой -

гаснут свечи в оркестре одна за другой - музыканты уходят -
скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой -
тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины,
и по мере того как с осенних осин облетает листва,
все прозрачней становится лес, обнажая такие глубины,
что становится явной вся тайная суть естества,-
все просторней, все глуше в осеннем лесу - музыканты уходят -
скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача -
и последняя флейта замрет в тишине - музыканты уходят -
скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча...
Я люблю эти дни, в их безоблачной, в их бирюзовой оправе,
когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом,
когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе
и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.

ЯЛТИНСКИЙ ДОМИК

Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы —
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Годы проходят, и, как говорится,— сик транзит
глония мунди,— и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.

Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки выются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.

Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся — забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.

Пахнет грозью, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит — о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет...

Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.

Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.

Старые ружья на выцветших старых обоях.
Двое идут по аллее — мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.
1976

